А. И. Фурсов

Александр Зиновьев: Русская судьба—эксперимент в русской истории

Я родом оттуда, где серп опирался на молот,
А разум на чудо, а вождь на бездушие стад,
Где старых и малых по селам выкашивал голод,
Где стала евангелием «Как закалялася сталь».
Б. Чичибабин

Ну, теперь я надерусь!
Пьем, братва, за нашу Русь!
А. Зиновьев

I

То, что А. А. Зиновьев занимает совершенно особое место в истории русской философии, бесспорно, однако он занимает особое место и в русской истории — как в ней в целом, так и в ее советском отрезке.

«Русский эксперимент» (1995) — так называется один из «социологических романов» А. А. Зиновьева. Под экспериментом имеется в виду опыт построения коммунистического общества. Вот в рамках этого коллективно-социального эксперимента Зиновьев и ставил свой собственный, лично-социальный, опыт реализации «государства в одном лице», описанный им подробно в «Русской судьбе, исповеди отщепенца» (1999 г.). Если учесть, что коммунистический (он же антикапиталистический, антиклассовый), советский эксперимент XX в. был элементом, составной частью почти тысячелетнего русского эксперимента

жизни-выживания на огромных пространствах в суровых, бедных субстанцией природных (к северу от 45-й, а то и 50-й параллели) и исторических условиях, то эксперимент Зиновьева, по «матрешечному принципу», оказывается встроен и в этот макроэксперимент, отражает целый ряд его черт, соответствуя или положительно, или отрицательно. В зиновьевской судьбе нашел отражение и тот факт, что советский эксперимент по многим показателям стал вершиной, высшей точкой русского исторического эксперимента. Хотя, разумеется, не всеми высотами следует восхищаться, высоты бывают разные, в том числе и зияющие, как это объяснил нам Зиновьев в середине 1970-х годов, в самый разгар так называемого «застоя», когда проедание — как выяснилось позже — прошлого, а отчасти и будущего на полтора-два десятилетия обеспечило один из самых спокойных, стабильных периодов не только советской, но и русской истории. Итак, Зиновьев и его русская судьба — эксперимент в русской истории — по ее логике и вопреки ей.

II

В русской истории *per se* существовали три властные централизованные структуры: Московское самодержавие, Петербургское самодержавие и коммунистический строй. Так получалось, что в конце существования каждой из этих структур, в период их ослабления под бременем накопившихся проблем различной исторической длительности, когда противоречие между властью как автосубъектом и «остальным» социумом достигало значительной остроты, и этот социум (или отдельные его группы) начинал претендовать на долю в автосубъектности, происходило следующее. Появлялся индивид, в котором (в силу его личных особенностей, с одной стороны, и социальных обстоятельств, с другой) властно-общественные противоречия достигли максимума остроты и накала и который поэтому становился модельным воплощением всего антисистемного в одном лице, так сказать, антисистемой в одном лице, и его личное противостояние власти приобретало характер противостояния двух автосубъектов, двух систем.

В конце Московского самодержавия таким индивидом был Аввакум, в конце Петербургского — Лев Толстой, в конце комстроя — таких персон оказалось две: Солженицын и Зиновьев. При этом, однако, если Солженицын вел свою **игру** с советской системой, активно опираясь на Запад и на некое общественное движение, а точнее, использовал их в своих лично-системных интересах (в **этом** смысле Солженицын равен и рядоположен диссидентскому движению), то Зиновьев, во-первых, не играл, а **жил-**

двигался в **своем** направлении, что автоматически, как бы он сам ни относился к системе, выталкивало его в противостояние. Во-вторых, в этом противостоянии Зиновьеву не на кого было опереться, кроме самого себя (и своей семьи). Это было в **чистом виде** противостояние Индивида-системы и Системы, без всяких путавшихся под ногами «движений» и т. п.

В этом плане ниша Зиновьева ближе к таковой Льва Толстого. И все же рискну сблизить Зиновьева не с ним, а с Аввакумом: хотя в случае с последним некое «движение» и присутствовало, тем не менее главной опорой в противостоянии Власти-Антихристу у верующего человека Аввакума было прежде всего его отношение с Абсолютом и этот самый Абсолют — Бог. Формальная религиозная, правда, очень специфическая (сам себе Бог?) опора была и у Льва Толстого, и в этом плане атеист Зиновьев опять же оказывается наиболее чистым случаем противостояния индивида власти — ни Бога, ни общества, ни социальных иллюзий. Можно сказать, что Зиновьев венчает, доводит до логического, очищенного от всего лишнего конца линию противостояния индивида — системе-власти, линию, которую начал чертить Аввакум. Вот уж поистине Зиновьев сработал прямо по «Интернационалу»: для освобождения оказались не нужны ни Бог, ни царь и ни герой — никакие прямые опоры — «*добьемся мы освобожденья своею собственной рукой*». В этом смысле Зиновьеву не на что было опереться. Впрочем, была основа, из которой он вырастал и потому могла быть внутренней опорой: это революция («народный большевизм») и победа в Великой Отечественной войне, но об этом чуть позже.

Что сближает «концы и начала», Зиновьева и Аввакума? Прежде всего непримиримость в отстаивании своей позиции, бескомпромиссность. Оба — «гол как сокол»: ни поместий, ни счетов в банках. Ни одному из них Запад не помог бы, не заступился: во времена Аввакума «Запада» как такового еще не было, а если бы и был, то тогдашней русской власти на его «общественное мнение» было глубоко плевать; что касается Зиновьева, то он к моменту выхода «Зияющих высот» не был известен на Западе и не был активным участником в «холодной войне» на стороне Запада, а следовательно...

У обоих — мощный темперамент, заряженность на полемику. Оба воевали фактически «против всех», их фронт — без флангов. Обоим — Аввакуму раньше, Зиновьеву — позже — пришлось стать свидетелями крушения тех социально-духовных миропорядков, с которыми они себя соотносили положительно или отрицательно. Правда, Аввакуму пришлось испытать приход «его Ан-

тихриста» один раз, а Зиновьеву — дважды. Последний сначала считал трагически неизбежным захват всего мира коммунизмом и наступление «коммунистического царства» (по поводу воплощения коммечты в реальность Зиновьев писал: «*Я даже рад, что скоро сдохну, / Не встретясь наяву с мечтой*»), а затем уже в 1990-е годы, когда крушение коммунистической мечты обернулось крушением России и торжеством западных хозяев «глобального человейника». В любом случае Аввакум и Зиновьев — люди, пережившие крушение надежд (не случайно один из сборников зиновьевской публицистики называется «Без иллюзий», другой — «Ни свободы, ни равенства, ни братства»).

Как Аввакум, так и Зиновьев — не просто бессребреники. Они — из победителей, не получающих ничего. Победителей — потому что, остались самими собой (в том числе как в отношениях с властью, так и в отношениях с народом, а Зиновьев — в отношении как с советской властью, так и с западной системой, а затем еще и с постсоветским социальным уродцем). Не не получивших ничего — потому что современное общество, по сути, не оценило их жизненного подвига ни символически, ни материально. Никто не носился с ними так, как носились в XIX в. с Толстым, а в XX в. — с Солженицыным. Кстати, оба — фигуры социально весьма защищенные и удачливые как в общественно-символической, так и в материальной жизни. Ну, ладно, Аввакум, XVII в. — давно, далеко. Но Зиновьев-то — конец XX в. Одна из ключевых и наиболее известных, первоплановых, наряду с Сахаровым и Солженицыным, фигур из гонимых властью. Среди этих фигур для этой власти в известном смысле самая опасная (Суслов о Зиновьеве: «*Боролись с диссидентами, а главную сволочь проглядели*». Ср. с фразой Екатерины II о Радищеве и Пугачеве). И вот рухнула коммунистическая власть, и оказалось, что в «прекрасном новом» постсоветском мире Зиновьеву опять нет места; для этого мира его как бы и не было, почти не было. Проспекты и улицы Сахарова, премии Солженицына и т. п. символические награды. Про награды материальные большого числа экс-диссидентов, прислуживающих теперь тем, кто намного хуже объектов их борьбы в советское время, и «придиссиденченных», околодиссидентских шестерок, подающих себя теперь едва ли не в качестве «тузов», я не говорю, это — предмет социальной энтомологии.

Я не о том, что Зиновьеву чего-то недодали, что он чего-то недополучил — он в этом и не нуждался: как жил своим трудом, так и жил им, а не на «проценты» («ренту») с «общественной деятельности» или на пособие «ветерану "холодной войны"» на стороне

Запада. Он в соответствии с логикой и ценностями «государства в одном лице» на это не рассчитывал и не ради этого вел себя так, как он вел. Невозможно представить себе, что Зиновьев превратил бы свою деятельность советского времени во вполне материальный продукт (квартира-дача и т. п.), как это сделали некоторые экс-диссиденты и в еще большей степени перестроечная и околоперестроечная шпана, умело продавшая свой антисоветизм западным, а затем и новым постсоветским хозяевам. Я вообще не о Зиновьеве, а о строе, которому Зиновьев оказывался не нужен, и в первую очередь не нужен хозяевам этого общества и их «интеллектуальной» обслуге — всем этим политологам из несостоявшихся советских журналистов и пропагандистов, преподавателей научного коммунизма, «специалистов» политпросвета и прочей бездари.

Не нужен, потому что, во-первых, смотрел на мир не их глазами и не в их интересах; во-вторых, знал секреты — их и породившей их советской системы, той грязи, из которой они вылезли в князи (а следовательно, и тайну «кощеевой смерти») и обладает аппаратом для понимания, т. е. демифологизации, демистификации, расколдовывания реальности, знает путь к социальной истине, в которой не заинтересованы не только хозяева нового строя, но и — по разным причинам — значительная часть общества.

Приемлемость для постсоветского социума и его хозяев фигур типа Сахарова и Солженицына и неприемлемость Зиновьева — интересный факт. Это — оценка. И по сути — высшая награда свободному человеку, которого миновала судьба Аввакума, но который своей жизнью доказал готовность идти на костер и мог бы вместе с поэтом Б. Чичибабиным сказать о себе «*Судьба Аввакумова в лоб мой стучит*». «*Свободен тот, кто может не лгать*», — заметил как-то Камю. Зиновьев мог ошибаться и ошибался, нередко — по-крупному, что, кстати, соответствует масштабу дара и личности, но он не лгал, и не случайно он — один из самых свободных людей, которых я встретил в своей жизни.

В известном смысле Зиновьев — это Аввакум позднекоммунистической эпохи, сменивший религиозную рационализацию противостояния власти на научно-философскую, отказавшийся в этом противостоянии от Бога в качестве опоры («лишняя гипотеза») и опирающийся только на самого себя. Зиновьев — это линия Аввакума, доведенная до логического конца и обогащенная достижениями XX в., как научными, так и психологическими. Хотя, думаю, в реальности Зиновьев и Аввакум, скорее всего, были бы если не врагами, то противниками. Нет, скорее все-таки врагами — в обоих случаях нетерпимость *über alles*.

Наконец, еще одно сближает Аввакума и Зиновьева: оба знали свой народ, знали ему цену и не имели на сей счет никаких иллюзий.

III

За последние 15—20 лет о русском народе и России сказано много гадостей. Привычно слышать их от «реформаторов», «неолибералов», прозападной интеллигенции. Социальные смердяковы суть социальные смердяковы, и ничего другого от них ждать не приходится. Но, пожалуй, во второй половине 1990-х годов самые жесткие характеристики и самые серьезные обвинения в адрес русского народа мне пришлось читать не в опусе какой-нибудь «шестерки» из прозападной интеллектухи, а в работах Зиновьева. Ему уже много раз пеняли, что он не любит свой народ. Это ошибка. Начать с того, что Зиновьев сам часть народа — в народном, русском характере этого человека и его творчестве сомнений нет, как и в его советском характере. Русское слово «правда», как и вообще русский язык и русская жизнь, — слово хитрое, неоднозначное, самому себе не тождественное. Это не просто истина в смысле «veritas», это некое иное качество, в котором veritas (по)знания, интеллектуальное, находится в органичном единстве со справедливостью, т. е. с социальным. Правда — это единство адекватностей когнитивной (духовной) и социальной, нравственной.

Слово «правда» в русском языке связано еще с одним словом — «право». Иметь «за собой» правду, значит, помимо прочего иметь право на некую позицию, на некие поступки. И чем увереннее тот или иной человек ощущает **свою** правду, тем увереннее в своих поступках, в противостоянии. «На том стою и не могу иначе,» — говорил Лютер. В основе его религиозной и нравственной позиции лежала его, Лютера, правда, в которой в единое целое слились индивидуальное и социальное («социально-множественное»), религиозное и рациональное.

В основе позиции и поступков Зиновьева тоже лежит правда — правда народа, истории, поколения, «помещенная» в одну, отдельно взятую личность, ею осмысленная, рационализированная и принятая как руководство к действию. Речь идет о правде системы в одном лице, правда «социального снаряда», которому русская жизнь и русская судьба дали приказ «иди». И эта правда, как ни парадоксально, тем сильнее, чем менее приятные вещи он говорит — об СССР и о Западе, о русском народе и других народах, о нашей стране, ее прошлом и настоящем, чем больше в этих словах боли.

У Зиновьева есть и другие правды и права. Например, право победителя. Не в том смысле, что победителей не судят (еще как судят), а в том, что если и есть в советской истории «поколение победителей», то это те, кто, как и Зиновьев, победил в Великой Отечественной. Поколение (условно) Зиновьева свою страну отстояло. Поколение (условно) Горбачева страну, ту самую, которую в 1941–1945 гг. отстояли, профукало — по-провинциальному, бездарно и самонадеянно; «словесный понос» перешел в «исторический», который и стал последним — фарсовым — аккордом крушения реального коммунизма и СССР, слитых в унитаз Истории вместе с последними руководителями.

Другой вопрос, — почему и как это произошло. Вот здесь-то я с очень и очень многим в аргументации Зиновьева не согласен, не могу принять. Но сейчас не об этом. Сейчас о правде Зиновьева, которая нередко имеет место быть даже в тех случаях, когда он не прав. Именно эта правда, повторю, дает Зиновьеву право писать то, что он писал о нынешней России, **так**, как он пишет, в **такой** форме; именно она дает ему право на ярость и бескомпромиссность, с которыми он относится к постсоветской власти и которые он почти автоматически переносит на те события, которые привели к ее возникновению, переносит, словно забывая им же сказанные слова: «*История не оставляет следов, только последствия, которые не имеют никакого отношения к породившим их причинам*».

Итак, правда Зиновьева — это правда фронтовика-победителя, который честно отвоевал, «отработал» войну, защищая ту самую страну, которую — таков результат — уничтожили перестройка и постперестройка. Я хорошо знаю немало людей этого типа (к нему относился, например, мой отец, окончивший войну майором дальней авиации, и многие его друзья-однополчане, называвшие Сталина не иначе как «Еськой» и демонстративно не горевавшие во время его похорон). Именно такие люди сломали хребет гитлеровской машине, став антисталинистами (но не антисоветчиками), и не только «*смело входили в чужие столицы*», но и без страха возвращались в свою.

Их было немало, победителей, прошедших Европу, а потому социально уверенных в себе, в своей правде. Привыкших к самостоятельному принятию решений, к инициативе, готовых — подготовленных опытом советской городской жизни, кроме которой они не знали никакой другой, — к аресту, и в отличие от жертв репрессий 1930-х, если и не понимавших, то по крайней мере чувствовавших, **за что** могут взять и уже потому не являвшихся

жертвами. Их было немало настолько, что «Сталину и его команде» пришлось начать сажать этих людей, изымать из «социального (круго)оборота». В отличие от «посадок» 1930-х годов, имевших наступательный характер, это была оборона. **Режим защищался**. Активно, но — защищался. От тех, кто спас Родину (и этот режим) в жестокой войне и в этой же войне выковал себя как антисталинистов.

Режим защищался от таких, как Зиновьев, от тех, кто своим антисталинизмом и самостоянием сделали возможными десталинизацию, так называемую «оттепель» (хотя, конечно же, настоящей «оттепелью» был «застой», ибо единственное тепло, которое мог выделять коммунизм как система, — это тепло гниения) и «шестидесятничество». Сделали возможным — и были забыты, нередко сознательно, но чаще бессознательно, так как не успели, да и не могли по суровости окружающей жизни и по серьезности своей жизненной сути попасть в рекламу и саморекламу «шестидесятничества». Но именно они между 1945 и 1955 гг. заложили фундамент десталинизации, став гарантией ее необратимости. Именно они были первым **советским**, т. е. выросшим на основе советских, а не дореволюционных или революционных форм жизни и отрицания коммунистического порядка, сопротивлением — сопротивлением не крикливым, не апеллирующим к Западу (победителям это ни к чему), неспешным, уверенным в своей социальной правоте по отношению к режиму и внутри него одновременно, а потому действительно опасным, страшным для режима — не только сталинского, но и для последующих. Замалчивание «бесшумного сопротивления» 1945—1955 гг., в котором невозможно было прогреметь героем и попасть на страницы западных газет и журналов — все происходило обыденно и тихо — и последующее выдвижение на первый план «шестидесятничества» и диссидентства как главных форм «борьбы против системы» — явление не случайное, но это отдельный разговор.

Зиновьев — оттуда, из того, что условно можно назвать «первым советским Сопротивлением» режиму. Историческими опорами этого Сопротивления стали Победа и Война — главное дело жизни этого поколения.

В послесоветской Российской Федерации правда Зиновьева — это правда миллионов советских и постсоветских людей, которых «герои» нашего — перестроечного и особенно постперестроечного — времени выпотрошили, отобрав деньги, как Лиса Алиса и Кот Базилио у доверчивого деревянного Буратино (с той лишь разницей, что у Буратино отняли золотые, а у «дорогих россиян» — «дере-

вянные»), заманив его на Поле Чудес в Стране Дураков. В нашем последнем случае — на Поле Чудес очередного обещанного Светлого Будущего, только уже не коммунистического, а капиталистического, либерального и демократического.

Неудивительно, что эти выпотрошенные в 1992 и 1996 гг. неудачники по постсоветской жизни голосовали за КПРФ, за коммунистов-неудачников (удачники-коммунисты уже заняли место в демократических шеренгах, хотя, разумеется, в этих шеренгах были и идеалисты, и просто честные люди — об этом тоже не надо забывать). В этом смысле правда Зиновьева — это правда тех, над кем, как сказал бы Баррингтон Мур, вот-вот сомкнутся или уже сомкнулись волны прогресса.

Правда Зиновьева — это правда несытых или, как сказал бы Зигмунд Бауман, локализованных — тех, кого все больше локализуют во все более глобализирующемся мире. И любой, кто пытается критиковать Зиновьева с моральных и эмоциональных позиций, должен об этом помнить. Разумеется, на это можно возразить, припомнив факт «реакционности и отсталости масс», их «ложное сознание» и т. д. и т. п., и отчасти это так. Но только отчасти; к тому же подобный посыл в целом напоминает большевистский подход к рабочему классу и особенно к крестьянству как якобы не сознающим своей выгоды — в будущем, ради которого надо потерпеть и пострадать, кстати, в том самом коммунистическом рае, на который пришелся «полет юности» Зиновьева, который он критиковал до начала 80-х годов и которому после его гибели слагал нечто похожее на посмертные оды — не всегда несправедливые, хотя далеко не всегда объективные.

Когда я говорю, что правда Зиновьева, позволявшая ему писать то, что́ он писал, и то, как он это писал, — это правда несытых, я имею в виду не только Россию, но и мир в целом, включая Запад. Социально творчество Зиновьева объективно направлено против эксплуатации, неравенства и господствующей идеологии вообще, а не только в России (об этом свидетельствуют его работы, посвященные Западу, глобализации). В этом плане в послевоенном западном мире я вижу, пожалуй, лишь одну фигуру, отчасти сравнимую с Зиновьевым по систематичности критике любых господствующих групп, по такому «повороту мозгов». Это Джордж Оруэлл — сопоставительно-сравнительный анализ работ двух этих авторов ждет своего исследователя.

Демократизм позиции Зиновьева, который обусловливает его неприемлемость для хозяев любой социальной системы, будь то капиталистическая или антикапиталистическая, советская или

постсоветская, нашел свое отражение и в очень специфическом социальном проекте Зиновьева, который он разработал в 1970–1980-е годы для людей советского общества и который до сих пор не оценен по достоинству, почти забыт.

IV

В 1970–1980-е годы оппозиционная режиму мысль выдвинула несколько проектов общественного развития. В центре внимания оказались два из них — А. Сахарова («либеральный») и А. Солженицына («почвеннический»). Их и противопоставляли друг другу. Но был и третий проект, причем различие между ним и двумя вышеназванными было глубже, чем таковое между последними. Речь идет о проекте Зиновьева, и дело не в том, что Зиновьев не призывал к общественному перевороту, т. е. к слому советского жизнеустройства. Исходя из того, что хороших систем нет, что везде есть верхи и низы, и «пролы», используя оруэлловское словцо, всегда в проигрыше, он стремился сформулировать принципы жизни индивида в конкретном, «данном нам в ощущениях» режиме, принципы социального, а не только интеллектуального ухода в себя.

Хотя с точки зрения стратегии жизни и выживания при коммунистическом порядке вообще и для одиночки особенно «программа Зиновьева» исключительно важна, я хочу обратить внимание на другое. Желали они того или нет, но Сахаров и Солженицын объективно рассуждали с перспективы новых, в советское время еще не сформировавшихся и лишь намечающихся пунктиром господствующих, элитарных групп, новой, посткоммунистической власти, по сути разрабатывая — *«крот истории роет медленно»* и *«дальше всех пойдет тот, кто не знает, куда идет»* — стратегии посткоммунистических элит, для того периода, когда коммунизм рухнет, и ему на смену придет новая система (в **реальности** которой, как окажется, места для Сахарова, Солженицына и им подобным уже не будет). Иными словами, в определенном смысле Солженицын, Сахаров и другие выполняли за советскую верхушку ту социосистемную работу, на которую эта верхушка, испытывая «чувство глубокого удовлетворения», сама не была способна, т. е. смотрели на социальный процесс с «верхних этажей» общественной пирамиды. Зиновьев же смотрел на социальные процессы с позиций не элитария, а трудящегося, наемного работника как физического, так и умственного труда.

Конечно же, ни Сахаров, ни Солженицын не собирались **сознательно** работать на хозяев посткоммунистической жизни и никогда этого не делали. Однако они стремились продумать и

предложить такую модель общественного устройства, которая в идеале устраняла бы, снимала противоречия коммунистического строя. Посткоммунистический ельцинский режим снял эти противоречия реально. То, что получилось в целом, естественно, очень далеко от замыслов Сахарова и Солженицына (хотя по-своему отчасти реализовались оба проекта — и ни один полностью и до конца), но ведь и гильотина французской революции была далека от замыслов и идей Вольтера и Руссо.

Критика существующего порядка, его господствующих групп и идей, его форм неравенства и эксплуатации **объективно**, как правило (исключения — редки), предполагает, пусть в негативной форме, разработку новой модели устройства, более эффективной, причем такой — что бы там себе ни думали борцы за свободу и проектировщики альтернативного, лучшего и более справедливого социума — которая предполагает более жесткий социальный контроль и **объективно** чревата большим или боле масштабным неравенством и, как минимум, более жестким и эффективным социальным контролем: человек предполагает, а История располагает.

В ситуации ослабления господствующих групп системы, вошедшей в зрелое или позднезрелое состояние (как, например, СССР в середине 60-х), ввиду их неспособности поддерживать социальный контроль и разработать новый проект последнего, эту задачу объективно берут на себя и выполняют радикальные критики режима. Выступая с абстрактных и «общечеловеческих» позиций (например, «свобода, равенство, братство»), объективно они готовят идейное обоснование нового, более эффективного в социосистемном плане и с необходимостью более жестко контролирующего своих членов общества. Радикализм и эгалитаризм политического языка не должен вводить в заблуждение — Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» называли это «*иллюзией (вначале правдивой) общих интересов*» и «самообманом идеологов», полагающих, что работают не на новых господ и хозяев, а на общее благо. Субъективно это так, объективно — нет.

Альтернативные (но в рамках одного качества) проекты Солженицына и особенно Сахарова, сами их позиции, углы зрения получили наибольшее распространение в среде «советской интеллигенции», той самой, по выражению Н. Климонтовича, «*интеллектуальной пятой колонной околопартийного истеблишмента, которая и сварганила поверхностную, как они сами, ни в чем серьезном и глубоком слышать не желавшие, перестройку*». Той самой советской «либеральной интеллигенции», которая наряду с номенклатурой и криминалом составила

«социальный триумвират» антикоммунистической революции, стала одним из ее «трех источников, трех составных частей». В планах как Солженицына, так и (особенно) Сахарова этой квазиэлитарной группе предназначалась существенная роль, а следовательно, и привилегированные позиции после смены строя. Отсюда — отношение к ним со стороны этой группы как в советское время, так и в послесоветское, когда наиболее шустрая и не обремененная «комплексами» часть совинтеллигенции превратилась в культурбуржуазию.

Позиция А. Зиновьева, такой смены не предполагавшая и имевшая как исходной точкой, так и адресатом простого человека, а не (квази)элитария, не могла быть приемлемой для сознания квазиэлитарной группы, ложного по своей сути. Русская интеллигенция и совинтеллигенция — и чем дальше от трудовой и чем ближе к привластно-богемной ее части, тем больше — считала себя элитой (противоположную точку зрения на этот слой см., например: Чехов, Ленин), которой **положено** занимать некие позиции далеко не внизу социальной пирамиды. У Зиновьева было **не про это**. Социально и политически ориентированные проекты обещали социальный и политический promotion. Проект Зиновьева был личностно ориентирован: «Ты царь: живи один». Ясно, что такой проект, адресованный «иванам в лаптях», не мог вызвать значительного социального интереса у того слоя, который видел себя в социальном авангарде и уж того намного выше «ивана» («пошел вон, мужик»). И можно понять настороженность, переходившую нередко в неприятие и неприязнь, которую, в свою очередь, испытывали люди типа Зиновьева по отношению как к «шестидесятникам», так и к диссидентам.

Повторю: в отличие от Сахарова и Солженицына, рассуждавших о новом, лучшем по сравнению с советским типе общества, Зиновьев принципиально исходил из того, что хороших обществ (систем, социальных устройств) не бывает. А следовательно, центральная социально-философская (социально-антропологическая) проблема — это главным образом выработка индивидом адекватного его целям и задачам образа жизни, т. е. строительство не общества, а личности или, если угодно, общества в себе. Отсюда — разработка средств и принципов индивидуального противостояния Системе при жизни в ней — зиновьйога.

Таким подходом Зиновьев делал сразу два радикальных и парадоксальных, хотя и различных, шага. Во-первых, если он и не выходил полностью за рамки традиции Просвещения, то подходил к самому ее краю. Во-вторых, что еще более парадоксально, в сво-

ем упоре на внутреннюю работу атеист Зиновьев очень близко подошел к стратегиям личного самоусовершенствования спасения, характерным для религиозных традиций, прежде всего — для христианства. Подобный поворот, для подробного анализа которого в данной статье нет места, тоже заслуживает отдельного исследования. Здесь лишь отмечу, что не согласен с теми, кто сближает позицию Зиновьева с протестантизмом, это очень поверхностное заключение: протестантизм плохо совмещается с русским, как сказал бы В. Царев, умостроем, с русским отношением к жизни. Чем с протестантом, русский скорее найдет общий язык с католиком или даже с мусульманином. Впрочем, по мнению известного французского геополитика А. дель Валя, есть нечто, что сближает протестантизм, иудаизм и ислам, с одной стороны, и православие и католицизм — с другой. В «тройке» Книга заслонила Бога, тогда как в «двойке» Бог важнее Книги. Это не значит, что нужно бросаться в объятия католицизма — вся наша история предостерегает от этого, но надо знать, с кем, о чем и в каких пределах можно договариваться.

Итак, анализируя в 1970-е годы «реальный коммунизм» и разрабатывая проект жизни в нем, Зиновьев смотрел на социальные процессы и структуры глазами представителя не привилегированных групп, а трудящегося (и сам при этом выступал именно как трудящийся — наемный работник умственного труда). Это вполне очевидно уже в «Зияющих высотах», хотя, пожалуй, сильнее выражено в «Светлом будущем». Благодаря такому подходу Зиновьев, сам того не зная, оказался в одном потоке с очень важным направлением в мировых социально-исторических исследованиях, которое оформилось в 1970-х годах и которое называют по-разному: «новая социальная история», «новая история культуры».

Новым в подходе целого ряда не связанных друг с другом ученых в США, Индии, арабских и других странах было стремление взглянуть на исторический процесс не с позиций (а следовательно, не в интересах) элит — обычных или революционных (т. е. будущих господ), а с позиций угнетенных, будь то крестьяне (Дж. Скотт), черные рабы американского Юга (Ю. Дженовезе), социальные низы города и деревни в «третьем мире» (прежде всего в Индии — так называемые «*subaltern studies*» школы Р. Гухи), афро-азиатский мир в целом как угнетенная зона (Э. Саид и др.). Используя наработки Э. П. Томпсона, Дж. Рюдэ, М.Фуко и др., эти исследователи создали принципиально новый дискурс, противостоящий как либеральному, так и марксистскому.

Парадоксальным образом Зиновьев с его научной, социальной и жизненной позицией, обусловленной советским строем, совпал

с очень важным, общественно и политическим острым направлением мировой социальной мысли. Правда, ему такая «позиция» обошлась значительно дороже, чем его зарубежным коллегам. Но в данном случае важно не это, а то, что Зиновьев, идя своим путем, часто оказывался в авангарде мировой теоретической мысли в области социальных наук, а нередко и обгонял этот авангард.

Я не хочу сказать, что взгляд на историю с позиций угнетенных — полноценная альтернатива взгляду с позиций господствующих групп или революционеров, что первым нужно заменить второе. Отнюдь нет, в таком случае мы опять получим односторонний взгляд. Однако, во-первых, такой взгляд позволяет многое увидеть иначе, создает более полную картину. Во-вторых, это очень важно как личная и социальная позиция, особенно в эпоху глобализации, когда богатство, власть и их сила объявляются главным (ведь вся «научная» история написана — эксплицитно или имплицитно — с элитоцентричных позиций). В известном смысле мы оказываемся перед той же проблемой, которую в начале XX в. пытался разрешить К. Мангейм: возможно ли социальное знание, преодолевающее ограниченность взглядов как господствующих («идеология»), так и угнетенных («утопия») групп. Мангейм давал утвердительный ответ на этот вопрос и называл надклассовое социальное знание «социологией познания», но не очень преуспел в конкретной реализации последней. «Система Зиновьева» представляет, на мой взгляд, более многообещающую программу выхода за рамки классовых (как сверху, так и снизу) ограничений взгляда на реальность. В немалой степени этому способствует советская — антикапиталистическая, неклассовая — социально-историческая база его исследований, в основе которой — русский опыт и русская интеллектуальная традиция противостояния власти и эксплуатации (достаточно вспомнить М. Бакунина, П. Кропоткина и др.).

V

Зиновьев выступает как последовательный критик любой системы социального господства, эксплуатации, угнетения. Он — критик неравенства, сложившегося в советской системе. Он — критик капитализма. Антикапитализм, антиклассовость Зиновьева, впрочем, очень соответствуют важным тенденциям русской истории, ее глубинным течениям, отражают их — и русскую жизнь в целом. Суть в том, что Россия — принципиально неклассовая, антиклассовая страна. У нас никогда не было классов в строгом смысле этого слова. Киевская Русь никогда не была феодальной. То было поздневарварское общество, почти поголовно вооруженное насе-

ление которого — плохой объект для любой эксплуатации классового типа. Это прекрасно понимали дореволюционные историки, в советское время это сверхубедительно показал в своих работах замечательный историк И. Я. Фроянов. В монгольской (удельной) Руси формирование классов (прежде всего господствующих — их оформление всегда опережает таковое угнетенных) тормозилось первоначально разрухой, а с конца XIII в. — как ордынской системой, так и возможностями развития вширь (колонизация). Впрочем, последнее деформировало и амортизировало развитие не только классовых, но и вообще социально-антагонистических отношений в течение еще нескольких столетий, и даже капитализм в России развивался не столько «вглубь», сколько «вширь». К факторам, тормозившим, а то и блокировавшим классовый («западоидный») вариант социально-антагонистического развития России, относятся также скудость ресурсов и вообще бедность вещественной субстанции, а также огромная военная составляющая общественных расходов.

Ни одна из господствующих групп русской истории, будь то боярство, дворянство, пореформенное чиновничество, не говоря уже о советской номенклатуре, так и не стала классом: не было ни достаточной материальной базы, ни достаточного исторического времени для оформления в класс. Более того, как только та или иная господствующая группа начинала превращаться в нечто классоподобное, власть (в союзе с низшей и более бедной частью господствующих групп) наносила удар и проводила своеобразную демократизацию (опричнина, например).

Таким образом, общество самовоспроизводилось на «предклассовом», поздневарварском (разумеется, если пользоваться европейской шкалой) уровне, сохраняя принципиальную простоту и время от времени «срезая» накопившийся «социальный жирок». Не случайно, что господствующим группам петербургского самодержавия так и не удалось сколько-нибудь успешно навязать низам, народу свои ценности и заставить его принять их, как это произошло в XVI—XVIII вв. в Англии и во Франции. Более того, сознание самих господствующих групп в России не оформилось до конца ни как классовое, ни тем более как буржуазное.

В этом плане необходимо признать, что исторический коммунизм (как антикапитализм) в СССР стал первой в русской истории положительной (и довольно органичной) формой организации неклассовости как положительного качества, которая в течение тысячелетия сопротивлялась всем попыткам уничтожить ее. Радикальная попытка последнего рода была предпринята в порефор-

менной России, на что и последовал радикальный ответ 1905–1917–1929/33 гг. То, что произошло в 1990-е, отчасти повторяет (но уже в другую эпоху, а следовательно, и результаты будут другими) русскую ситуацию второй половины XIX — начала XX в.

Как это ни парадоксально на первый взгляд, но бóльшая часть дореволюционных попыток осмыслить и концептуализировать русскую историю приходится именно на вторую половину XIX — начало XX в. и представляет собой, за незначительными исключениями, капиталоцентричное и западоцентричное (при этом Европа сводится к Западу) — в либеральной или марксистской форме — прочтение истории России, сквозь призму нетипичных для нее форм (частная собственность, капитал, партии и т. п.). Об этом хорошо написал М. Волошин:

Но жизнь и русская судьба
Смешали клички, стерли грани:
Наш «пролетарий» — голытьба,
А наши буржуа — мещане.
Мы все же грезим русский сон
Под чуждыми нам именами.

После революции, в советское время, восторжествовал все тот же западоцентричный подход — уже в марксистско-ленинском виде, в классовых терминах, непригодных для понимания ни русского исторического опыта в целом, ни коммунистического эксперимента в частности. Для них, особенно для последнего, не было научного языка, понятийного аппарата, что, кстати, признала коммунистическая власть устами генсека Ю. В. Андропова в 1983 г.: «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся».

Научно-историческая заслуга Александра Александровича Зиновьева заключается в том, что он был одним из первых (а в СССР — первым), кто поставил задачу разработки научного (т. е. связанного с реальностью, а не с советской или западной идеологией) метода и аппарата понятий, адекватных «реальному коммунизму». Это — первое. Второе. Зиновьев стал новатором и в разработке средств и форм изучения коммунистического общества. В этом помимо прочего и заключается суть его «системы».

В известном смысле, особенно если абстрагироваться от второстепенных деталей, «система Зиновьева» (именно система, поскольку она шире философии, социологии и т. д.) представляет собой грандиозную попытку теоретической и ценностной рационализации коммунистической — высшей и экспериментально наиболее чистой фазы русского исторического опыта, суть которого

заключается в сохранении и воспроизводстве «поздневарварского», «неклассового» (в различных его модификациях) строя:

в суровых («северо-восток») природных условиях;

на фоне классового демонстрационного эффекта западного типа, с одной стороны, и достижений цивилизации Востока, с другой;

во враждебном окружении, которое стало максимально таковым именно в советский период русской истории (до того — постоянное противостояние степи, вплоть до конца XVIII в., а с конца XVIII в. — борьба с «континентальными» державами (Франция, Германия) во время мировых войн и противостояние «морским» державам (Великобритания, США) в межвоенные периоды.

Речь идет о таком историческом опыте, в реализации которого контроль над пространством важнее контроля над временем, а распределение в совокупном процессе общественного производства играет не менее, а порой и более важную роль, чем производство. Это с неизбежностью порождает принципиально простой в своих основах и базовых ячейках социум; сложность в таком типе общества «располагается» на уровне межличностных отношений и культуры, что и нашло отражение в великой русской литературе XIX в. Не случайно Дж. Ле Карре заметил, что русские до Фрейда узнали о психологии больше, чем позже, что у них больше понимания человеческой природы, чем у западного специалиста психолога («романы» Зиновьева — блестящее подтверждение мысли английского мастера политического детектива).

Изучение русского и советского опыта и формирующегося на их основе типа общества требует принципиально иной по типу конструкции и методологии теории, чем, например, капитализм, феодализм или наиболее развитые азиатские социумы. Даже в то время, когда Россия внешне максимально напоминала Европу, была ее частью (по крайней мере что касается русского господствующего слоя), проницательный наблюдатель (де Кюстин) писал: «*С первых шагов в стране русских замечается, что такое общество, какое они устроили для себя, может служить только их потребностям; нужно быть русским, чтобы жить в России, а между тем с виду все здесь делается так же, как и в других странах, разница только в основе явлений*» (подч. мной. — *А. Ф.*). Работы Зиновьева помимо прочего направлены на разработку такого теоретического инструментария, который позволит преодолеть это «с виду» и добраться до основ явлений, причем прежде всего касательно периода, в который Россия больше отличалась от Запада, чем в эпоху Николая I. Инструментарий,

о котором идет речь, должен адекватно отражать принципиальную простоту «русского (или советского) эксперимента» и, в известном смысле, быть простым (хотя с точки зрения созидания, нет ничего сложнее простых вещей, будь то материальные или, тем более, идеальные). Это — случай «системы Зиновьева», которая в ее объяснении коммунизма может внешне показаться недостаточно сложной, а потому не вполне научной, особенно если сравнить ее, например, с тем, что писали об этом феномене русские философы начала XX в. или западные социологи XX в.

VI

Ключи к секретам социальных систем лежат на поверхности — в различных вариантах эта мысль Зиновьева встречается во многих из его работ. Не все, но многие ключи к секретам индивидуальной социальной системы «Зиновьев» тоже лежат на поверхности — в том смысле, что на многое указывает сама необычная **форма** произведений Зиновьева, которую называют то «интеллектуальным романом», то социологическим, то «documentary fiction». И здесь необходимо сказать несколько слов на тему «Зиновьев и русская литература». Не претендуя на полный охват этой темы, отмечу лишь один ее аспект.

Жанровая форма зиновьевских произведений сама по себе весьма **содержательна**; особая диалектика содержания и формы, заключающаяся в содержательности формы и формальности содержания — это вообще характерная черта русской истории как реальности, русского хаосмоса в противостоянии как варварскому хаосу, так и западному и восточному космосам. Тем не менее зиновьевская **форма** многое открывает в его творчестве и в нем самом; впрочем, немало и скрывает, особенно от робких умов. Поэтому вопрос о жанровой специфике произведений Зиновьева весьма важен и выходит за рамки жанровой, т. е. формальной проблематики. Повторю: в России форма всегда нечто большее, чем просто форма. Текучая содержательность русской жизни (не зря Ключевский называл русский народ текучим элементом русской истории), ее неоформленность требовали столь мощных форм, которые в силу этой мощности вполне могут претендовать на статус (сверх)содержания.

Философия русской истории (и русской жизни) должна исходить из иных, чем философия западной истории, соотношений между содержанием и формой, закономерностью и случайностью, пространством и временем. Русская реальность во многих отношениях устроена так, что снимает противоречия между тем, что в

буржуазном, западном обществе можно было отчетливо развести как содержание и форму. В России и поэт больше, чем поэт, и свобода — больше, чем свобода, и тайная полиция — больше, чем тайная полиция, и литература — больше, чем литература. Под этим — жанровым — углом зрения уникальность Зиновьева-литератора очень хорошо вписывается в традиции русской литературы, по крайней мере великой ее части. Действительно, к какому литературному жанру относятся «Зияющие высоты» и мой любимый «Желтый дом», «Катастройка» и «Искушение», «Нашей юности полет» и «Русская судьба», «Русский эксперимент» и «Светлое будущее»?

Однажды автору «Войны и мира» задали вопрос о жанровой принадлежности этого произведения. Лев Толстой ответил так: «Что такое "Война и мир"? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. *"Война и мир" есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось».*

В целом Толстой верно отметил некую регулярность великой русской литературы. И вправду, что такое «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Былое и думы»? Что такое «Путешествие...» Радищева и «История...» Карамзина? Только заметки путешественника и историческая хроника? Что такое произведения Достоевского и Розанова?

То, что великая русская литература XIX в. постоянно нарушала европейские жанровые формы, занимала по отношению к ним **произвольную**, т. е. волевую позицию — не случайно. Изображение русской реальности, адекватное именно ей, а не какой-то другой (например, английской, французской или немецкой) требует и соответствующей формы. Как говорил Пушкин, русская история требует особой формулы. И русская жизнь тоже — добавлю я. Строго говоря, постановка вопроса о нарушении русской литературой европейских форм, об отступлении от них, не вполне корректна: она провозглашает в качестве нормы западный опыт, т. е. западноцентрична. Но ведь Запад — не единственная цивилизация на земле и не ее пуп; более того, Запад — это не единственная Европа, это — западная Европа, кроме нее существуют южная, средиземноморская (в прошлом античная) и северо-восточная, русская.

По верному и пожалуй лишь чуть утрированному замечанию кого-то из наших философов, в то время как герои Бальзака и Диккенса решают вопросы быта и денег, герои Толстого и Достоевского (при всем их различии) решают проблемы бытия и нравствен-

ности. Это не значит, что западная литература плоха, а русская хороша, или наоборот. Речь о другом: в России литература решала и решает такие задачи общественного (само)познания, которые не стояли перед литературой на Западе.

«Романы» Зиновьева — это полифония, в которой ни одна форма (и вообще форма) не имеет самостоятельного значения, а служит реализации цели выразить то, что хотел автор в адекватной замыслу и реальности виде. В этом изысканном интеллектуальном салате работает все: проза и стихи, философия, научные рассуждения и диалог-треп, юмор и сатира (а я, читая, еще вспоминаю и зиновьевскую живопись). Все это отлито в единое целое и, как снаряд, бьет в цель, достигая ее в единстве рационального и эмоционального. То, что разделение на писателей и мыслителей условно — не новость, об этом писали Шопенгауэр, Б. Шоу, Борхес и др. Зиновьев устраняет это разделение сознательно: цель — создать такое средство отражения реальности, которое максимально адекватно последней.

Если в своих «чисто научных» работах о советском обществе Зиновьев пытался найти адекватный именно этому обществу (а не западному) научный язык, понятийный аппарат, то в своих романах он стремился найти, причем весьма успешно, форму изложения и язык, адекватные советской реальности. Я подчеркиваю: форму изложения и **язык**.

В лице Зиновьева советская литература в позднекоммунистическую («подзднесоцреалистическую») эпоху, на выходе из «коммунизма как реальности» вернулась к тому, с чего начала на входе, в эпоху возникновения этой реальности. «Литературный» эксперимент Зиновьева стал ответом литературному эксперименту А. Платонова, перекличкой с ним. Начала и концы встретились, время — историческое время коммунистического строя — свернулось «лентой Мебиуса» и кончилось. После «Зияющих высот» коммунизм (и СССР) просуществовал полтора десятка лет. Но в известном смысле это была жизнь после смерти. В «Зияющих высотах» (и с ними) коммунизм умер — чтобы ни говорил впоследствии о гибели этого строя как случайности, результате диверсии и т. п. сам Зиновьев. «Зияющие высоты» стали чем-то вроде «Хроники объявленной смерти» коммунистической реальности. Строй, по поводу и на материале которого пишутся работы типа «Зияющих высот», не имеет перспектив — по крайней мере при сохранении его правящего слоя, неизменности основных тенденций его развития. Так же, как и то, что было написано в 1870-е годы Салтыковым-Щедриным, не оставляло сомнений: перед нами общество,

обреченное на гниение и смерть. Кстати, именно с Щедриным нередко сравнивали Зиновьева, особенно западные рецензенты, на него часто указывают как на предшественника Зиновьева. Я бы сказал иначе: в позднесоветской («пореформенной», если иметь в виду загнувшиеся, не успев начаться, «косыгинские» реформы) литературе Зиновьев занимает нишу, во многом сходную с той, которую в системе позднесамодержавной («пореформенной») русской литературы занимал Салтыков-Щедрин. Что касается социосистемной позиции, то по непримиримости к основным идейно-политическим лагерям в литературе и жизни Зиновьев похож на великого Лескова. Что же до непосредственных литературных предшественников, то, думаю, их нужно искать не столько в дореволюционной русской литературе, сколько в после- (точнее: сразу после-) революционной.

В широком историческом плане предшественник Зиновьева — великий русский (советский, а еще точнее — «реальнокоммунистический») писатель А. Платонов. Характерно, что А. Платонов практически непереводим на иностранные языки, при переводе утрачивается суть, главное.

Бродский в «Послесловии к "Котловану" А. Платонова» заметил, что если современники А. Платонова — Бабель, Пильняк, Булгаков, Олеша и другие — в большей или меньшей степени играли с языком свою игру, занимались «стилистическим гурманством» (я бы добавил сюда Джойса, «Улисс» которого написан с помощью множества разных стилей), то «*Платонов сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности* [...] *главным его* (А. Платонова. — *А. Ф.*) *орудием была инверсия; он писал на языке совершенно инверсионном — между понятиями язык и инверсия Платонов поставил знак равенства — версия стала играть все более и более служебную роль*».

В значительной степени сказанное Бродским о А. Платонове можно сказать и о Зиновьеве. Я бы только добавил еще одно: в своих «романах» Зиновьев нередко если и не ставит знак равенства между понятием и образом, то использует их в одном и том же качестве, и это функциональное тождество приводит к появлению слов-кентавров — образов (в том числе и стихотворных), работающих как понятия, и понятий, выступающих в качестве образа. (Я оставляю здесь вопрос об образах зиновьевской живописи, которая во многих отношениях является лучшим ключом к его творчеству.)

Необходимо, конечно же, сказать, что само стирание грани между понятием и образом в текстах, написанных по-русски, обусловлено в качестве необходимой, хотя и недостаточной, причины такой особенностью русского языка, как его, пользуясь выражением Бродского, синтетической, не-аналитической сущностью; последняя делает возможным «*зачастую за счет чисто фонетических аллюзий — возникновение понятий, лишенных какого бы то ни было реального содержания*». И несмотря на это, дополню я Бродского, а может, и благодаря этому, по крайней мере в условиях специфической реальности подобного рода понятия становятся сверхсодержательными, сюрсодержательными, фиксируя, например, в гротеске самую суть дела, явления. Речь идет о ситуации, когда социальная норма может может быть адекватно выражена лишь крайними средствами и формами, реальность — фантастикой и т. д.

Зиновьев был первым, кто использовал всю не-аналитическую мощь русского языка для решения аналитических (т. е. научных по сути, а не литературных) по своей сути задач исследования советского общества. И, что не менее важно, своей личной ситуации, места в этом обществе. Такое (внешнее) несоответствие цели и средства, содержания и формы, субстанции и функции и породило вещи (явления) типа «Зияющих высот» и «Желтого дома».

Зиновьева многое если не роднит, то сближает с А. Платоновым. Как заметил все тот же Бродский, последняя страница «Котлована» переворачивается читателем «*в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время*». Аналогичные чувства и желания возникают, когда перевернуты последние страницы «Зияющих высот». При этом надо подчеркнуть, что ни А. Платонов, ни А. Зиновьев не были врагами советского строя! Более того, оба они — сознательно или подсознательно, эксплицитно или имплицитно, — постигая свою личную ситуацию, воспринимали ее не столько как индивидуально-обособленную, сколько как системную: у А. Платонова — массовую, он — часть массы, она говорит через него; у Зиновьева — системы (государства, массы, народа) в одном лице, но опять же не одиночки байронического типа, противостоящей толпе (последнее — не русский тип героя; Байрон принял бы Чацкого, а вот Пушкин над ним посмеивался и, исходя из русских реалий, был прав).

Сила как А. Платонова, так и А. Зиновьева — в умении понять и отразить имперсональный, надиндивидуальный характер проис-

ходящего; у первого это чувствуешь, у второго — чувствуешь и понимаешь одновременно. Языковые структуры, а точнее, хаосмосы обоих писателей, подобно воронке, втягивают читателя, порой против его воли, в ощущение-понимание-слышание музыки массовости, имперсональности, а потому закономерности (и следовательно, нормальности ужаса и ужаса нормальности) идущих процессов, с чем личность примириться не может. А. Платонов и А. Зиновьев, каждый своими средствами, снимают это противоречие, выходят за его рамки на основе сюрперсонализма, гиперперсонализма, когда-либо личность, «Я», разрастается до габаритов системы, либо масса сжимается в «Я» и умещается в нем, придавая ему одновременно интерперсональный и инфраколлективный характер.

Достичь этой цели можно только путем создания новой знаковой системы, нового языка. Или перехода в иную, новую знаковую систему, например, на английский язык, с помощью которой можно было отстранить себя от нее и ее от себя, сделать дальними и чужими берегами не только физически, но и метафизически. Именно по такому пути снятия русской реальности и преодоления ограниченности имеющихся языковых средств пошел Набоков, но не тупик ли это? Впрочем, не все ясно и с тупиковостью (разумеется, метафизической) и в случае А. Платонова (а следовательно, и Зиновьева). Тупиковость здесь, однако, приходит, на первый взгляд, с неожиданной стороны: «Пришла беда, откуда не ждали».

Как пишет Бродский, *«язык прозы Андрея Платонова заводит русский язык в смысловой тупик или — что точнее — обнаруживает тупиковую философию в самом языке». И далее: «Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость»*.

Если заменить «язык» на «жизнь» и «историю», которые его детерминируют, а «грамматическую зависимость» — на обратную связь между культурой и реальностью, то путем этого преобразования мы фиксируем тупиковость некоего развития, одним из проявлений которой становится зависимость от фикций, созданных в этом развитии для его реализации. В такой ситуации исчезает различие между высшей стадией и тупиком (собственно, высшая стадия как конец прогресса и означает тупик), высотами и пропастями. Эта острейшая и по сути непреодолимая по своей двойственности ситуация и есть, помимо прочего, ситуация СССР, советского коммунизма. Будучи высшей стадией русского эксперимента,

его триумфом, пиком (за счет настоящего, прошлого и будущего), «реальный коммунизм» («реалком») не мог в конечном счете не оказаться русским тупиком, «зияющими высотами». Это парадоксальное название зиновьевского романа сверхреалистично и точно фиксирует ситуацию не только брежневской фазы «реалкома», но и этого последнего как явления. Теоретически только захват коммунизмом всего мира, его господство над планетой (в которое Зиновьев верил и которого опасался вплоть до середины 1980-х годов, ошибочно считая это едва ли не предрешенным делом, что указывает на серьезные изъяны его теории «реального коммунизма», особенно в объяснении динамики и противоречий этой системы) теоретически могли вывести СССР из «своего» тупика и вырвать этот социальный тип из-под власти «грамматической зависимости» от фикций.

Если «спрямить» ситуацию, то можно сказать, что, во-первых, если через «медиума» А. Платонова высказался гениально косноязычный, рождающийся в ходе революции и Гражданской войны коммунизм, ужаснувший во многом самого «медиума», то устами Зиновьева заговорил поздний, загнивающий коммунизм — с закупоренными социальными сосудами и резко ослабленным иммунитетом (кстати, претензии Зиновьева к «брежневизму» — это часто претензии не к коммунизму вообще, а именно к уставшему, гнилому коммунизму, о чем необходимо помнить в анализе текстов Зиновьева о коммунизме, в которых нередко под видом одной критики на самом деле скрываются и переплетаются два разных и несходных типа — коммунизма как системы и ее поздней стадии).

Во-вторых, во многих отношениях Зиновьев, возможно, сам того не зная, пытался ответить на вопросы, поставленные А. Платоновым (а также взбаламученной, взвихренной русской массой и большевиками), русской революцией, рационализировать и концептуализировать их опыт. В значительной степени Зиновьев ответил. Более того, он дожил до провала и поражения этого опыта, но не смирился с этим и отчасти именно поэтому не смог, на мой взгляд, адекватно объяснить причины провала. Но это особая тема, выходящая за рамки данной работы, она — о другом.

VII

Эксперимент «система в одном лице» поставлен Зиновьевым в советской реальности XX в. Однако, на мой взгляд, он имеет большое теоретическое и практико-социальное значение и для XXI в. — для интеллектуалов энтээровской эпохи, в которой, как известно, решающими факторами производства становятся нема-

териальные — информация, интеллект. В условиях НТР сама социальная грань между властью и собственностью и, естественно, их персонификаторами во многом стирается. НТР **на производственной** основе создает ситуацию, которая, например, в советском обществе, в коммунистическом порядке существовала на основе **непроизводственной** и была следствием большевистской властно-технической революции, ВТР. Поразительным образом результаты развития позднего, энтээровского капитализма (с их размагничивающим влиянием на собственность, во многом превращающим ее в квазисобственность) и результаты разложения коммунизма (с появлением в посткоммунистической системе привласт'ных квазисобственников) оказываются внешне сходными (сбылась мечта о конвергенции?). Если и вспомнить еще и о росте значения интеллектуальной собственности, то получается, что власть, собственность и знание становятся элементами какой-то новой субстанции, трудноуловимой на языке политэкономии и чем-то похожей на злого духа из «Шах-Намэ» с его «*я здесь и не здесь*».

Выход на первый план в само́м вещественном, материальном производстве «невещественных» форм труда и производства, нематериальных факторов труда принципиально меняет ситуацию интеллектуала, его отношения с капиталом и государством. НТР не просто превратила интеллектуала как агента духовного производства в наемного работника умственного труда; он оказывается еще собственником главного для нашей эпохи фактора материального производства — интеллектуально-производственного, понятийно-образного.

Иными словами, ныне, как и в «докапиталистические» эпохи, главным становится живой труд, но не в его физической, а интеллектуальной форме. Социальные последствия НТР, производственно-экономическая ситуация «информационного общества» в значительной степени устраняют треугольник «эксплуататоры — эксплуатируемые — интеллектуалы», «растаскивая» третий элемент, угол, по двум другим, превращая треугольник в отрезок с двумя краями. Иными словами, линии «господствующие группы — интеллектуалы», «эксплуататоры — эксплуатируемые» сходятся в одной точке, в интеллектуальном труде как системообразующем виде найма. Опроизводствление интеллекта и интеллектуализация материального производства, появление социального агента, совмещающего в себе функции интеллектуала и наемного работника материального производства, принципиально меняют ситуацию.

Во-первых, значительная часть эксплуатируемых уже просто не нужна, наукоемкое производство может обойтись без них. Во-

вторых, интеллектуалы как персонификаторы главной производственной функции и в то же время собственники условий, предмета, процесса и результата своей деятельности, неотделимые физически от этих последних, начинают как группа расслаиваться: часть (меньшая) «уходит в князья», превращается в «культурбуржуазию», бóльшая часть сливается с эксплуатируемыми или даже люмпенизируется. Нередко тот или иной вариант может быть результатом сознательного выбора. И вот тут-то интеллектуал сталкивается с серьезнейшей проблемой. Ни верхи, ни низы позднекапиталистической эпохи, будь то центр, периферия капсистемы, социальных симпатий не вызывает. Эпоха Масс и Революций, а следовательно, Надежд и Иллюзий закончилась в 1991 г.

Какой выбор возможен для профессионального интеллектуала в новой ситуации? В то время как в индустриальную эпоху интеллектуалы социопроизводственно были обособлены и от эксплуататоров, и от эксплуатируемых, в социополитическом плане они, как правило, ассоциировали, соотносили себя либо с первыми, либо со вторыми, обосновывая свой выбор теоретически. В энтээровскую эпоху интеллектуалы социопроизводственно либо сближаются с эксплуататорами, либо превращаются в эксплуатируемых, т. е. исчезает зона соотнесения. Вместо «треугольника» возникает слой богатых (20 %) и бедных (80 %), часть из которых вообще выброшена из производства, из «социального времени» — не нужны. В изменившейся глобальной социальной ситуации интеллектуалы должны прекратить ассоциировать себя социополитически с верхами или низами. Необходима выработка адекватного самостоятельного корпоративно-группового сознания. Речь не идет об объединении в партию или политическую организацию — партийно-политическая эпоха уходит, а по сути уже ушла в прошлое. Речь — о другом: о формировании **произвольной** позиции по отношению как к господствующим, так и угнетенным группам системы, а также к системе в целом. Для такой позиции ныне возникает и объективный социопроизводственный базис — глобальные информпотоки.

Этот базис — необходимое, но недостаточное условие занятия интеллектуалами произвольной системно-антисистемной позиции по отношению к основным социальным группам. Достаточных условий, на мой взгляд, два. Первое — разработка социально-исторической теории, адекватной современному миру, раскрывающей его реальное содержание, механизмы управления и т. д. Вне научного анализа реальности невозможно определить свое место в ней. Однако полноценная разработка такой теории (а теория — дело штучное,

ремесленно-мастеровое в высшем смысле этого определения) в условиях современного общества возможна лишь на основе реализации — и это второе достаточное условие — программы «система в одном лице». В этом плане эксперимент Зиновьева, осуществленный в условиях советского **властного** контроля над сферой идей, имеет огромное значение для эпохи, в которой контроль над идеями приобретает позднекапиталистический **производственный** характер. Зиновьев, получается, и в практическом плане работает на будущее, его эксперимент — так получается объективно — это «добрым молодцам урок», «добрым молодцам» XXI в.

Если Маркс на «входе в Современность» звал к индивидуальной свободе посредством обретения свободы коллективной, то Зиновьев «на выходе из Современности» не просто предлагает путь к коллективной свободе через индивидуальную (хотя его можно прочесть и так), но снимает — для осуществления Рывка к Свободе и жизни в ней — противоречие между индивидом и коллективом (системой) в практико-теоретической программе «система в одном лице». Мне это напоминает то, как христианство в концепции личности сняло характерное для античного общества противоречие «индивид — коллектив». И это тоже кажется мне символическим и симптоматичным: похоже, на рубеже XX—XXI вв. мы оказались в конце не только эпохи Модерна, но и христианской эпохи: мир постмодерна — это, по-видимому, будет и постхристианский мир, в котором человек может рассчитывать только на себя, на свое мужество быть и мужество знать, причем адекватное знание (теория) обусловлено определенной социальной позицией.

Как знать, не окажется ли человек в XXI в. в такой ситуации, в которой остаться человеком можно будет только в виде «системы в одном лице»? В таком случае советский XX в. уже провел предварительную испытательную работу, причем не только по линии коллективной — социосистемного антикапиталистического эксперимента, но и по линии индивидуальной (индивидуально-системной, системно-личностной) — зиновьевского эксперимента (впрочем, они связаны между собой). Как тут не вспомнить Тютчева с его *«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»*. Действительно, не дано. Отозваться может по-разному. Мы можем лишь констатировать: своим опытом Зиновьев, по-видимому, предвосхитил важную форму жизнебытия интеллектуала постиндустриальной эпохи, как такого агента, чья профессиональная позиция, постоянно проверяемая теоретической рефлексией (это отличает интеллектуала от эксперта), обусловлена его про-

извольным социальным бытием представителя «класса» «систем в одном лице» и моральной рефлексией по этому поводу. В какой степени подобный «класс» является классом и в какой степени подобная «система» является системой — на эти вопросы предстоит уже отвечать интеллектуалам XXI в. Зиновьев — среди тех, кто поставил этот вопрос не только теоретически, но и практически — своей жизнью в стране.

Зиновьев сыграл огромную роль в борьбе за прояснение советской истории, ее сути и смысла. Я далеко не со всем согласен с его **конкретными** интерпретациями. Однако общий подход — честный и без иллюзий взгляд на наше прошлое и настоящее и стремление найти адекватный нашей реальности научный язык — сомнений не вызывает. Лучшее социальное средство реализации такого подхода — позиция «Я-система» в одном лице. Тоже предложено Зиновьевым. Тоже, как и он — достояние России, подарок русского XX века — веку XXI. Подарок во многом горький, но истина иной и не может быть.

Зиновьев сделал столько, сколько мог бы сделать хороший институт. Теперь — объективно — очередь следующего поколения, того, которое пользовалось плодами Великой Победы и на глазах которого, а то и при его активном или пассивном соучастии — по наивности, восторгу от свалившейся свободы и непонимания, что хороших систем не бывает (что, впрочем, не означает необходимости защищать прогнивший коммунизм) эти плоды были утрачены. Те, кто не просто застал комстрой, а кто прожил при нем половину («плюс»-«минус») жизни, должны постараться объяснить его суть и понять причины гибели. И не только потому, что речь идет о нашей стране, об одной из ее исторических структур. Есть не менее важная причина более общего порядка: комстрой, каким бы он ни был, в истории человечества является единственным социосистемным экспериментом строительства общества на основе не эксплуатации, а солидарности. Конечно, благими намерениями дорога в ад вымощена, и сам Зиновьев писал, что наиболее чудовищные в истории социума рождаются как результат осуществления самых светлых утопических проектов. Все так, но — ушел Советский Союз, и что мы видим в мире? Всем стало лучше? Наступили мир и покой? Восторжествовали права человека, именем которых Запад противостоял «империи Зла»?

Комстрой в СССР был единственной в истории попыткой реализации антикапиталистического проекта, создания системы — альтернативной капитализму попыткой строительства Модерна на основе принципа равенства. Коммунистический русский экспе-

римент — альтернатива эксперименту капиталистическому, англосаксонскому. XX в. — это борьба двух этих просвещенческих проектов как равноположенных. И ранее, и особенно теперь делается все, чтобы эту равноположенность затушевать, представить коммунистический эксперимент отклонением как от капиталистической нормы, так и от русской дореволюционной истории. Перед нами — еще одна фальсификация, цель которой — по сути — лишить нас нашего XX в. На самом деле антикапитализм имеет не меньшее историческое значение, чем капитализм, и особого внимания заслуживает вопрос о том, почему именно Россия реализовала этот западный проект, наполнив его русским содержанием. Ответы на эти вопросы имеют кардинально важное значение для нашего будущего, и Зиновьев сделал очень многое, чтобы расчистить эпистемологическое поле для ответов на них.

Понять СССР — это не только понять нашу историю, но и ответить на вопрос: возможно ли системное осуществление социальной справедливости? И даже если ответ отрицательный, негативный опыт — это тоже опыт. К тому же за одного битого двух небитых дают. Поражения — а XX в. для России кончился (и начался) поражением — жестокий, но хороший учитель. Разумеется, если хотеть учиться. К. Поланьи, автор одной из главных книг XX в. — «Великое изменение», писал, что именно анализ поражения привел в 1930-е годы в Германии к появлению политиков, обладавших зловещим интеллектуальным превосходством над своими оппонентами из западных стран-победителей. Но то же можно сказать и о большевистском руководстве 1920–1930-х годов, наученном горьким опытом России начала XX в. Путь к победам лежит в информационной сфере, в сфере психоистории. Недаром Зиновьев постоянно говорил: «*Наша задача — переумнить Запад*».

Исследовать и понять причины провала СССР и как антикапиталистического модерна, и как самой чистой, т. е. максимально свободной от собственности формы русской власти, сделать правильные выводы и разработать на их основе практические рекомендации труднее и неблагодарнее, чем просто присоединиться к посткоммунистическим хозяевам с их (и «неолиберального капитализма») принципом «побеждает сильный, и он прав». «Не в силе Бог, а в правде». Я, как и Зиновьев, атеист, но эта фраза, приписываемая Александру Невскому, представляется мне правильной — в метафизическом смысле. Жизнь и творчество Александра Александровича Зиновьева, активно участвовавшего своими исследованиями в создании плацдарма для борьбы за научную истину в XXI в., служат тому подтверждением.